

«Редкое сочетание психологической тонкости, изобразительной точности и свежести нравственного чувства. А всё вместе – завораживающая и пронзительная проза».

*М. Эштейн*

ИРИНА



# Муравьёва



Отражение  
Беатриче

# Ирина Лазаревна Муравьева Отражение Беатриче

*текст предоставлен издательством «Эксмо»  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3020595](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3020595)  
Ирина Муравьева. Отражение Беатриче: Эксмо; Москва; 2012  
ISBN 978-5-699-55247-4*

## **Аннотация**

Однажды Данте увидел на флорентийском празднике восьмилетнюю Беатриче и полюбил ее на всю жизнь. Так произошло и с Сергеем Краснопевцевым, советским дипломатом, встретившим на эскалаторе московского метро светловолосую Анну. И Микеле Позолини, влюбившись с первого взгляда в ту же самую женщину, погубил свою дипломатическую карьеру за одну лишь встречу с русской Беатриче. Какую тайну несла в себе она?

# Содержание

Часть I	4
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Ирина Муравьева

## Отражение Беатриче

*Ларисе Рубальской*

### Часть I

Маруся, жена милиционера Степана, купила козу. И правильно сделала. Коза эта по имени Пашенька не только осталась навеки в памяти дачников, но и выкормила всех поселковых детей своим отвратительного запаха, но очень питательным козьим молоком. Всякое молоко, если оно только что выбежало из человеческой или звериной груди, пахнет слишком сильно: наверное, материнское существо с его жаркой кровью, слезами и потом себя проявляет таким жгучим запахом.

На закате к Марусиному крыльцу подтягивался народ. Хозяин дома милиционер Степан выходил на веранду, босой и заспанный, оглядывал очередь с красными от заката волосами и, звонко зевая, кричал:

– Давай, открывай Главпищторг!

Маруся, жена его, так выплывала из мрака сарая, как будто бы с детства плясала на сцене в каком-то ансамбле и тело ее облепила не кофта с застрявшим на воротах сеном, а весь в жемчугах сарафан из атласа, пошитый на средства Большого театра. Она выплывала, слегка накренившись, потому что руку ее оттягивал тяжелый дымящийся бидон, и голосом свежим и сочным, как дыня, просила, слегка оттопыривши губы:

– Посуду! Уже остывает!

Стакан стоил копейки, и многие брали по два и даже по три стакана и тут же подзывали детей, чтобы напоить их, пока еще все в молоке сохранилось: и кальций, и магний, и жир, и кислоты.

На дачах, построенных в тридцать восьмом году, многое было не закончено до сих пор, хотя стояло лето пятьдесят первого: полы недокрашены, перила не обструганы, но жизнь кипела вовсю, и когда на выходные приезжали родственники, а кроватей не хватало, то спали на стульях, и на гамаках, и просто под пышным и снежным жасмином.

А запах стоял в этих юных садах! Такой стоял запах, что все улыбались.

Люди, пришедшие на землю, отведенную под дачно-строительный кооператив, немедленно пустили корни, точно так же, как это делают растения. Мелкая и невзрачная река наполнилась их торопливым потомством, в лесах запестрели их платья; веревки, протянутые между сосен, прогнулись под тяжестью белых, огромных, надувшихся, как паруса в океане, рубашек и простынь.

А вечером Пашенька, терпеливая и отзывчивая, стояла в сарае, и кудри, как пена, сбегали с ее длинных щек, а Маруся, отбившись от жадных объятий Степана, врывалась с ведром, усмехаясь лукаво.

*Анна не успела открыть калитку, как мать с отцом, сидящие на террасе за самоваром, вскочили и оба пошли ей навстречу. И хотя она решила, что ничего нельзя говорить, нельзя пугать их, и приехала она только затем, чтобы повидаться, а десятичасовой электричкой нужно вернуться в Москву, но то, как они побледнели, ударило ей прямо в сердце.*

Ее жизнь началась зимою двадцать седьмого года, в ту минуту, как родители, только что вернувшиеся из подмосковной церкви, где их обвенчали, затопили печку и легли спать.

Она была зачата в самую первую ночь, когда они согревали друг друга дыханием и папа так стискивал мамину голову, что слезы бежали из маминых глаз.

Она была плодом любви. Любовь, распотрошившая худенькое тело мамы, пускай привела к яркой девичьей крови, которая долго лилась, но мама не пикнула, не застонала, чтоб только, не дай Бог, его не пугать, а он, то есть муж, то есть будущий папа, потрясенный тем, что у него появилась жена – да, эта вот девушка в белой рубашке, – папа кусал себе губы, боясь разрыдаться, потому что его переполняло умиление, хотя прежде, когда он оставался в постели с женщиной, никакого умиления не было, а только одна была ярость да гордость. Что касается страха, так его стало только больше, когда они, уже зачавшие Анну, затихли в объятиях друг друга. До этой ночи каждый боялся за свое. Елена Александровна – за родителей, доживающих дни в тамбовском подвале, куда их швырнуло волной революции, а Константин Андреич – за сестер, одна из которых все время болела, а у другой на руках было трое детей и муж – то ли жив, то ли умер, а то ли убит. Теперь эти прежние страхи сгустились, они собрались в одном месте, свернулись, как скользкие черные змеи, казалось, что их можно даже пощупать. Но новый, только что возникший страх друг за друга оказался таким мощным и так переполнил собою обоих, что с той первой ночи до самой кончины они так и жили, все время тревожась.

Из своего детства, проведенного в деревянном доме неподалеку от Смоленской площади, в одном из тех чудесных московских переулков, которые ярко белеют зимой, а летом такие зеленые, она долго помнила много смешного. Но самым смешным был тот день, когда появились в их доме племянницы.

Племянниц было трое, они жались за папиной спиной, и лица у них были очень широкими, с высокими скулами. Деваться им всем было некуда, потому что та самая сестра, за которую папа особенно волновался, в конце концов заболела и померла, а дочки остались. Была еще одна сестра, которая кашляла и не могла взять на себя детей, к тому же имелся и муж – горький пьяница.

Мама, правда, утверждала, что папа забрал бы племянниц в любом случае. Плосколицые девочки никому на свете не были нужны. Маме они тоже не были нужны, потому что еды не хватало даже четырехлетней Анне, и мама тайком, потихоньку варила крупу, какую оставили Биму, серому, с синеватым животом, сенбернару, брошенному соседями на неопределенный срок. Бим не голодал, а ел так же, как ела тогда вся семья, то есть мама и папа: совсем не тогда, когда есть вдруг захочется, а только тогда, когда будет, что съесть. Тогда, когда хочется, ела лишь Анна, и даже крупу, оставленную для Бима, съела Анна. Теперь, с появлением в доме трех девочек, мама не представляла себе, как она будет выкручиваться.

Племянниц повели на кухню, где было жарко натоплено и в печке кипел чай с водой.

– Ты Туся? – спросила мама у старшей девочки с круглым гребнем в волосах.

– Я Муся, – ответила девочка, – Туська – она.

Среднюю девочку звали Тусей, а младшую Ниной, но и она почему-то откликнулась только на Нюсю. Анна смотрела, как мама мыла по очереди Мусю, Тусю и Нюсю, поставив каждую в таз, и с каждой текла сначала черная, потом серая и только в самом конце прозрачная вода. Девочки были кудрявыми, и расчесать эти свалявшиеся кудри мама так и не смогла, к тому же все трое рыдали таким низким басом, как будто курили махорку.

– Наголо, наголо! – замахал руками папа, вошедший на кухню помочь. – Там вшей небось столько, что их не прочешешь!

Когда всех троих – Мусю, Тусю и Нюсю – побрили наголо и они смиренно сидели на лавке, лысые и распаренные, блестя своими узкими глазами и ели картошку с сухарями, запивая ее сладкой водой, Анна начала так смеяться, что остановиться уже не могла, смеялась до самой икоты.

Папа никогда не кричал и никогда ни на чем не настаивал. Он сообщил маме, что их теперь будет не трое, а шестеро в двух смежных комнатах, и сделал это так, словно иначе и быть не должно. А мама привычно ахала про себя, иногда даже ужасалась, но в жизни не спорила. В душе ее была твердая уверенность не только в том, что все, что он делает, правильно, но в том, что «такого, как мой, поискать». Да и не найдешь: хоть ищи – не ищи.

Не год и не два, а целых восемнадцать лет они так и жили, все шестеро, в этих двух комнатах, и мама смирилась, что внешне не было никаких различий между ее любовью к Анне и к этим троим, узкоглазым, которые звали ее «тетей Лелей». Почему, кстати, отца не посадили, не сгноили, не выбросили из Москвы, никто из родственников не понимал, даже мама не понимала. Когда начались аресты в Госплане, где он тихо сидел, протирая свои сатиновые нарукавники, в общей комнате с медной табличкой на двери «Юрисконсультский отдел», мама почти перестала спать по ночам. Она старалась, чтобы он не заметил этого, лежала с закрытыми глазами, и свет редких фар озарял переулок так сильно, что каждая снежная крошка, вдруг вспыхнув, спешила на землю, как будто боялась быть пойманной или убитой. А спал ли отец, трудно было понять. Спокойное лицо и ровное его дыхание могли обмануть, но иногда он чуть слышно стонал сквозь сомкнутые губы, и стон говорил, что отец крепко спит. Иначе бы точно: стонать не решился.

Большое и кровавое «ленинградское дело» должно было смести и его, и всю его семью, состоящую из женщины и четырех девушек, но этого не случилось: расстреляли начальника Госплана Вознесенского, расстреляли других, но отца не тронули. И так оказалось, что пока вокруг целыми – *что* семьями! – поколениями, родами, деревнями и областями уходили в землю, обугливались, пропадали без вести, их, всех шестерых, не убило, и пеплом тела их не стали, и даже война обошла стороной: отец получил бронь по врожденному пороку сердца, в эвакуацию они не поехали, а так себе тихо и жили в одном из чудесных кривых переулков.

С конца сорок пятого, впрочем, они уже жили втроем: Туся, Муся и Нюся выскочили замуж так быстро, словно ими выстрелили из ружья. Сперва вышла Туся, за ней сразу – Муся, и Нюся – уже перед самой Победой. Выросшие в бедности, но в уюте и даже веселье, а летом всегда хорошевшие от дачного воздуха, козьего молока, малины, смородины – росло всего много, все зрело, краснело, и зелень в саду была яркой и светлой – Туся, Муся и Нюся, с высокими скулами, плоскими лицами, всегда привлекали мужчин, и, хотя ни одна из них не оказалась счастливой в семейной жизни, три свадьбы сыграли в надежде на счастье и «горько» кричали до хрипа.

Тусю подхватил статный и ладный Федор, сам из деревни, но выбившийся, как говорили, «в люди», подростком бежавший от голода в город и тут получивший военное образование в Академии имени Фрунзе. Муся, самая начитанная и умная, познакомилась на берегах Москвы-реки с инженером, работающим на секретном объекте и потому не взятым в армию, а младшая, Нюся, отправленная на прополку широких полей вместе с девичьей бригадой Московского текстильного техникума, полюбила Николая, еле выжившего после ранения в живот и поставленного присматривать за девичьей бригадой во время нелегкой колхозной работы. Но Анна представить себе не могла, чтоб взять да и вдруг разлучиться с родителями. Ни с кем ей не было так хорошо, как с ними. И лучше их не было никого. Мама и папа никогда не жаловались, а нежное их отношение друг к другу и было, конечно, причиной тому, что девушка, родившаяся от любви и выросшая внутри ее, казалась какой-то уж слишком спокойной по нынешним злым и лихим временам.

Закончив музыкальное училище и поступив в консерваторию, она нисколько не изменилась, и даже бурная трагическая музыка, созданная немецкими композиторами, задолго почувывшими, что именно принесет и без того истерзанному человечеству романтическая немецкая душа, которую оказалось так же легко подчинить злу, как и любую другую душу, –

даже ежедневное соприкосновение с этой музыкой не смогло притушить ясного и радостного света, который сиял изнутри ее глаз с минуты рождения.

Но свет привлекает к себе. И не только привлекает, но способен зародить в человеке раздражение, переходящее в острую жажду обладать этим светом или хотя бы оказаться причастным к нему. Весной пятидесятого, когда еще не успокоилась только что пролитая и наскоро впитанная землею кровь привлеченных по ленинградскому делу, и отец Анны не был уверен, что сегодняшней или, скажем, завтрашней ночью не остановится в их переулке машина и не втолкнут его в эту машину со скрученными за спиной руками, Анна встретила своего будущего мужа. Случилось это в предпоследний день Великого поста.

Он спустился вниз по эскалатору, она поднималась наверх. Свет на ее лице был таким ярким, что мертвые люстры подземного царства не затмевали этого света, а только усиливали его. Она выплывала наверх, тихая, приветливая и слегка задумчивая, отчего лицо ее, поразительное не только своим изнутри освещением, но и особенной умной открытостью, напоминающей лицо ее отца, казалось как будто цветком среди пыли. Вокруг были серые, мятые лица, на многих застыла какая-то ярость, как будто их люди желали скорее доехать до улицы и побраниться.

Сергей Краснопевцев привык к серым лицам настолько, что, увидев ее глаза, вздрагивающие и вспыхивающие от прикосновения чужих взглядов, плывущих навстречу и бесцеремонно облизывающих ее, он ощутил подобное тому, что ощущает человек, который холодною, пасмурной ночью кутается в ветхое одеяло, все время просыпаясь от того, что не может согреться, и вдруг засыпает беспечно и сладко, не зная, что солнце взошло и согрело все в мире. Расталкивая неловких от собственной озлобленности людей, он бросился вниз по эскалатору, перескочил на другой и нагнал ее на самом выходе из подземелья. Перед ним была туго закрученная коса с легко и беспечно прикрывшим затылок беретом, таким независимым и невесомым, что он мог сорваться да и полететь, стать птицей какой-нибудь, а не беретом, случись только вдруг очень сильному ветру. Внизу, под косою, был воротничок, прямая спина, но лица он не видел, и страх, что, когда он ее остановит, она обернется, но глаз тех не будет, а будут другие, смутил его сердце, и он еле-еле коснулся локтя незнакомки.

Она обернулась, и даже в сумерках было видно, как она покраснела. Превосходно одетый, отчего ему, наверное, многие на улице люто завидовали, черноглазый, с тонкими губами и тонким носом человек стоял перед ней и смотрел на нее так пристально, как будто его привели на опознание преступницы. Анна отступила на шаг, но бежать не бросилась, и не было даже заметно, что так уж она испугалась. Скорее всего, удивилась, но в меру.

– Пойдите! – сказал Краснопевцев. – Куда вы бежите?

– Не я, – усмехнувшись, поправила Анна. – Бежали-то вы.

Он должен был бы улыбнуться на это ее замечание, но он не улыбнулся и только еще острее впился в ее тихо покрасневшее лицо своими блестящими глазами.

– Я вас догонял.

– Мне нужно сейчас на урок, – объяснила она. – И так я уже опоздала.

Краснопевцеву понравилось, как просто, совсем без кокетства, она говорит с посторонним.

– Я вас провожу.

И тут она вдруг растерялась. Видно было, как она растерялась, а может быть, и огорчилась, потому что маленькая морщинка появилась между бровями, но он уже взял ее под руку – цепко, но все-таки вежливо и аккуратно, – и они зашагали по направлению к Московской государственной консерватории.

– Вы учитесь?

– Да.

– Ну, и что за урок?

– Урок фортепиано.

– Вы зря испугались, – сказал он отрывисто.

– Мне непривычно.

– Что вам непривычно? Что я подошел? К вам разве никто никогда не подходит? Но вы же красивая! Я вам не верю.

– Подходят ко всем, – возразила она. – Конечно, ко мне подходили.

Он вдруг засмеялся.

– Смешно вы ответили. Как вас зовут?

– Меня зовут Анна.

– Сергей Краснопевцев, – представился он.

– А отчество?

– Просто: Сергей.

– Но вас на работе зовут ведь по отчеству?

– При чем здесь работа!

– Мне нужно бежать, – перебила она. – Нельзя так опаздывать.

– Тогда бежим вместе.

Они пробежали несколько метров, и она резко остановилась, обеими руками поправляя беретик. Консерватория была в двух шагах, и слышались громкие звуки искусства.

– Красиво играют! – впиваясь в нее глазами и словно бы фотографируя ими то, как она, подняв руки, на одной из которых висела старая черная сумочка, скатившаяся к самому плечу, поправляет волосы, сказал Краснопевцев. – Идите, играйте, я вас буду ждать.

– У меня сегодня домашний урок, – смущенно сказала она. – Мне нужно сюда, в этот дом.

И подбородком кивнула на каменный дом через дорогу.

– Так что мы стоим? Вы и так опоздали. Идемте быстрее!

Опять взял ее под руку, и они вместе перебежали дорогу. У черного обшарпанного парадного она остановилась.

– Спасибо, что проводили. – И то же умное и открытое выражение, поразившее его на эскалаторе, вернулось на ее успокоившееся лицо. – Всего вам хорошего.

– Я буду вас ждать, – сказал Краснопевцев.

Морщинка прорезала лоб:

– Вы знаете, лучше не нужно.

– Вы замужем, что ли?

– Я? Нет. Я не замужем.

– Тогда подожду.

Она улыbnулась. Пошел мелкий дождик, и в блеске его сейчас же намокла мимоза. Мимозой всю торговали старухи. И все стало жалким почти до отчаянья.

К моменту знакомства с Анной Сергеем Краснопевцеву было тридцать девять лет, в сорок третьем он закончил Высшую дипломатическую школу НКВД, куда попал «от сохи» по партийному набору, и сейчас работал в Министерстве иностранных дел, налаживая непростые отношения России и Ближнего Востока. Ближний Восток отличался коварством, все время лукавил и нож норовил вонзить в спину. Сергеем Краснопевцеву и его товарищам приходилось быть начеку. Да дело не в Ближнем Востоке! В родном министерстве жилось куда хуже, чем на Ближнем Востоке: стучали, следили, ночами не спали, вне стен учреждения пили – да, пили и женщин меняли, но тайно и тихо. И это спасало, потому что только

алкоголь и женщины помогают миру вернуть его правильный ракурс, а после, когда выдыхается то и другое, в тебе остается тоскливая горечь, как будто сгущается яд внутри сердца.

Ему показалось, что она обрадовалась, когда высунула голову из подъезда и увидела его. Во всяком случае, сама подошла и вежливо спросила, не замерз ли он.

– Хотел вам мимозу купить, – сказал Краснопевцев. – Потом испугался: а вдруг пропущу? А как вас искать?

Она ничего не ответила.

– Вы не торопитесь? – спросил он.

Она покачала головой.

– Вот и хорошо! – Он волновался так сильно, что руки в кожаных перчатках стали ледяными. – Пойдемте ко мне. Посидим, поболтаем...

Она промолчала.

– А можно в кино. Хотите в кино?

– Я не знаю, – сказала она. И вдруг покраснела до слез.

– Пойдемте ко мне, – повторил он тогда. – Тут близко, на Сретенке...

Анна опустила глаза, и видно было, что она не кокетничает, не играет с ним, как делали это другие, а просто пытается что-то понять.

– Ну, что? Документы мне вам показать? – спросил Краснопевцев таким голосом, как будто не шутит, но она облегченно засмеялась, закинула голову.

Он обрадовался ее смеху, как доброму знакомому.

– Не надо, – сказала она, продолжая смеяться. – Я, кажется, вас не боюсь.

Голос ее принадлежал девочке, а смех взрослой женщине. Он поднял руку, остановил такси. Она отступила шаг назад, когда он распахнул перед ней дверцу.

– Садитесь!

– Я думала, мы прогуляемся.

– Да что за гулянье, когда идет дождь? Доедем за пару минут.

Доехали быстро. В такси она молчала. Краснопевцев начал что-то говорить, но сбился: не до разговоров. Инстинкт охотника подсказывал ему, что главное – долго не церемониться и сразу переходить к делу. То, что она ехала к нему домой, не могло быть случайностью. Значит, она понимала, что происходит, и он ей нравится. Ему хотелось, чтобы она улыбнулась, но она и в такси смотрела на него так же серьезно, открыто и внимательно, как на улице.

«А я психопат», – подумал он, пропустив ее в дверь своего дома на Сретенке, и удивился голубоватому, как показалось ему в свете фонаря, цвету ее выпавшей на воротник косы.

В будке у лифта сидел вахтер и остро наточенным карандашом записывал, кто пришел. «Товарищ Краснопевцев с женщиной. Квартира № 12. 4 часа, 48 минут».

В лифте он хотел поцеловать ее, но побоялся испортить свидание и не поцеловал. Она была по-прежнему спокойна, но подозрительно тиха, словно испытывала то ли себя, то ли его. Войдя, Краснопевцев сразу зажег свет, и весь коридор осветился. Мебель у него в квартире была казенной, на стульях висели бирки с фабричными номерами. Паркетный пол блестел, как только что залитый водой каток. Анна сняла беретик, поправила волосы на лбу. Они были светлыми, пряди в косе опять показались слегка голубыми.

– Хотите взглянуть, как живу? – спросил он. – Давайте пальто, я повешу.

Разные женщины приходили сюда – красивые и развязные, нарядные и не очень, – но ни с одной он не чувствовал такой неловкости, как с ней. Ему почему-то казалось, что он ни за что не сумеет уложить ее в постель, и когда взгляд его упал на подзеркальник, где стоял очень искусно сделанный из нефрита темно-синий виноград в голубой, матового стекла вазе

(на ножке болталась цена!), Краснопевцев подумал, что в ней что-то есть от нефритовых ягод: как будто живые, а сами из камня.

Анна сняла пальто и, оставшись в клетчатом простом платье, стояла перед ним с тем же мягким и внимательным выражением на лице, причем сейчас это лицо показалось ему еще светлее, чем тогда, на улице. Нужно было заманить ее в спальню, налить ей вина и поставить пластинку, а в танце увлечь на кровать... Во рту у него пересохло.

– Вы хотели показать мне, как вы живете, – напомнила она и первая шагнула в комнату.

Теперь он видел ее сзади и без пальто, которое было мешковатым и скрывало фигуру. Она была тонкой в талии, с крутыми, мощно вылепленными бедрами. Сквозь ткань платья явственно проступала впадинка, от которой начинались ее как будто бы тоже вылепленные выпуклые ягодицы.

«Вот это лошадка!» – успел он подумать о ней так, как привык думать о других женщинах, но она обернулась, и выражение ее глаз показалось ему укоризненным, как будто она знала все его мысли.

– У вас так красиво, – сказала она. – Нарядно...

– Да все не мое. – Он смутился. – Почти. Вся мебель казенная.

Он ждал, что она спросит, кем он работает, но она ничего не спросила и отвернулась от него.

– Да, очень нарядно, – сказала она, но грустно, как будто хотела заплакать. – Сейчас уже поздно, я лучше пойду.

– Куда вы пойдете? Ведь я вас хотел угостить! Давайте хоть чаю попьем!

Неловкими руками он достал из буфета бутылку коньяка, чашки, блюдца, рюмки. Она села на самый краешек дивана и грустно, внимательно следила за ним. Краснопевцев опустился на ковер, прижал голову к ее коленям и замер. Она не отшатнулась, не попыталась вскочить.

– Ты странная, – глухо сказал Краснопевцев. – Как будто вся светишься.

– Я вас увидела на эскалаторе, – прошептала она, и он почувствовал, что дрожит не только ее голос, но все ее тело, и эта дрожь отозвалась в нем неожиданной виной перед нею. – Я увидела вас раньше, чем вы меня. И сразу подумала... – Она замолчала, не договорив. – Потом, правда, стало ужасно неловко.

– Сейчас тебе тоже неловко? – спросил он, не поднимая головы.

– Нет, – просто сказала она.

Краснопевцев повалил ее на диван и всем своим крепким мускулистым телом навис над нею, всматриваясь в ее расширенные темные зрачки.

– Чего ты боишься? Меня?

– Нет, вас не боюсь.

То, как быстро все произошло, было неожиданным для него самого, и так испугал его этот короткий и низкий крик боли, которым она ответила на его силу, что он на секунду опешил. Она лежала, раздвинув белые, как молоко, ноги и обеими ладонями зажимая низ живота. Он увидел, что пальцы ее уже перепачканы кровью.

– Прости! Я не знал, – забормотал он и вдруг, не отдавая себе отчета, прижался губами к испачканным пальцам. – Я даже подумать не мог... Прости, ради Бога!

Она быстро встала с дивана и, зажимая подушкой живот, закрывшись ею, блеснула на него глазами:

– Можно мне... воды какой-нибудь...

Тогда он подхватил ее на руки и понес в ванную, большую, сверкающую белизной, с махровым полотенцем, висящим на золотом крючке, вмонтированном в стену. Она зажму-

рилась то ли от того сильного впечатления, которое производила на обыкновенного человека эта ванная, то ли от стыда перед Сергеем Краснопевцевым. Он поставил ее в ванну и начал, торопясь, стягивать с нее старое, уже немного тесное платье, сильно пропотевшее под мышками. Коса ее развалилась, шпильки выпали, и когда она наконец осталась в одной короткой, с кое-где оторвавшимися по вороту кружевами, рубашки, чудесные сильные волосы закрыли ей спину и грудь.

– Вот душ... – бормотал он. – Пстой! Повернись.

Она покорно повернулась к нему спиной, и он направил струю воды на ее сразу потемневший затылок, круглые плечи с побежавшими по ним и ярко заблестевшими каплями. От сильной струи она сторбилась, и Краснопевцев поцеловал ее между лопатками, потом обеими руками обхватил сзади эту молодую, вздрагивающую, горячую грудь с твердыми сосками. Она обернулась внутри его рук. Краснопевцев успел заметить, что с пальцев, которые она подставила под струю, вода побежала не белой, а чуть розоватой от крови. Он видел, что ей очень стыдно, до крика, что она готова провалиться со стыда, но вместе с тем мужской его опыт подсказывал, что она не только не боится его, но в ней вот сейчас просыпается женщина, плоть которой ничем не отличалась бы от куска мяса, если бы не исключительно женское и неизбежное одухотворение первого плотского желания, отличающее все живое от мертвого. Завернутую в полотенце, он вновь подхватил ее на руки и понес обратно в спальню. На ней все еще была мокрая бледно-голубая облепившая ее сорочка, а сползший чулок, который делал ее похожей на девочку-неряху, как их рисуют в книжках для младших школьников, она торопливо стянула с ноги и так и оставила в ванной. В спальне было темно. Обведенное темно-синей тенью, истощавшее за зиму дерево в окне тянуло вверх свои ветки, как будто просилось на небо.

Он лег на кровать рядом с нею, и она уткнулась лицом в его грудь, дыша в его шею коротким дыханием. Желанье так быстро и остро вернулось, что Краснопевцев, не успев остановить себя, уже оказался внутри ее тела. Его окатило горячей волною, и он растворился, поплыл, как плывет уставший от бега, от страха, от жара какой-нибудь странник, который хоть слышал, что где-то есть море, но моря не видел, – и вдруг посчастливилось, и, с наслаждением припав к этой чистой и теплой воде, он весь обернулся сияющей влагой.

Потом она тихо спала на его руке, и хотя за эти два часа, которые они провели вместе, ни Краснопевцев, ни Анна не сказали друг другу и десяти слов, то, что произошло между ними, было таким естественным, как будто бы так они спали всегда: он – с краю, она – у стены, виском на его худощавом плече, и дерево с дрожью смотрело к ним в форточку. Заснуть до конца он, однако, боялся, хотя и усталость, налившая тело, клонила к глубокому долгому сну.

Минут через двадцать она открыла глаза и вопросительно посмотрела на него.

– Выходи за меня, – попросил он. – Давай прямо завтра распишемся.

– Но мы ведь не знаем друг друга.

– Достаточно знаем. Уж я-то тебя раскусил.

Она засмеялась и, приподнявшись на локте, свесив на его лицо свои густые и длинные волосы, близко-близко заглянула ему в глаза.

– Ты так смотришь, – прошептал он, – словно наизнанку выворачиваешь.

– Вы что-то скрываете, да?

Он вздрогнул всем телом.

– А что? Рассказать?

– Расскажите. – И вдруг она сильно и встревоженно провела рукой по его волосам.

Тепло, похожее на то, которое вырывается наружу, когда приоткрывают печную дверцу, чтобы подбросить дров, обожгло ему голову.

– Я переселенец. Ты знаешь, кто это?

Она неуверенно, мягко кивнула.

– Сослали нас, все отобрали, – понизив свой голос до шепота, объяснил он. – Всех сразу сослали. Семью: отца, мать и трех братьев. Два маленьких умерли. Мать умерла. А я убежал. Ну, не сразу, конечно. Отец с братом живы. А может, и нет. Не знаю. Там мало кто выжил...

– Откуда же все это? – спросила она, обводя глазами богатую спальню.

Он пристально посмотрел на нее в темноте.

– Я тебя замуж зову, поэтому скажу тебе то, чего никому не скажу никогда.

– Не нужно мне ничего говорить! – Она отодвинулась и испуганно всплеснула руками. – Зачем? Вы потом будете бояться, что я кому-нибудь расскажу...

– Не буду бояться. Я знаю уже, что не буду. – Обеими руками он обхватил ее лицо и почти коснулся ртом ее рта. – Все чего-то бояться. И я тоже очень боюсь. Но только других. Не тебя.

– Но все-таки... Ты сам решай...

– Да поздно уже отступить. И так разболтал слишком много. Мне все документы подделали.

Того, что она не отшатнется, не вскрикнет, не начнет вырываться из его рук, а, напротив, прильнет к нему еще крепче, обнимет и прижмет губы к его левому глазу так сильно, что ему пришлось зажмуриться, и глаз его затрепетал и запульсировал под ее горячими губами, – этого он не ждал.

– Молчите, молчи! Я ничего про это не знаю, ничего знать не хочу! Я тебя на эскалаторе увидела и сразу подумала: «Вот!»

– Ты так и подумала: «Вот»? – Он почти засмеялся.

– Да, так и подумала, – серьезно ответила она, и Краснопевцев почувствовал на своем лице и шее ее слезы. – Я знала, что со мной сегодня что-то случится. Ко мне бабушка моя во сне приходила.

Звон последнего трамвая растворился так близко, как будто этот трамвай, невидимый и хрупкий, был только что в комнате, и они не заметили его.

– Приходила моя бабулечка, – шепотом сказала она. – Она умерла в Тамбове, когда мне было шесть лет, но мы с мамой застали ее, и мама ухаживала за ней, и я там была, вместе с мамой. Она мне теперь часто снится. Я знаю: когда она снится, она что-то хочет сказать. А может быть, предупреждает.

– Какая ты... – Краснопевцев не смог сразу подыскать слова. – Из другой жизни, из другого теста. И я с тобой, словно во сне...

– Да что ж тут плохого?

– А вот и проверим. Я грубый, простой. К языкам только оказался очень способным. – Он коротко засмеялся. – А так: я совсем ведь простой. Но хитрый, ты это учти.

И вжался лицом в ее грудь. От ветра, поднявшегося за окном и проникнувшего к ним через настесь открытую форточку, тюлевая белая занавеска слегка шевельнулась, словно хотела приблизиться к ним, дотронуться до них, но снова притихла и, похожая на отсвет косо идущего снега, замерла так, как будто поняв, что, раз до кровати ей не дотянуться, одно остается – подслушивать.

Знакомство жениха с родителями произошло через три дня. Наступило воскресенье, и праздновать Пасху родственники Анны собрались на даче. Все знали, что сегодня к обеду она привезет незнакомого человека, с которым назавтра, в понедельник, распишется в загсе. Венчанья не будет, потому что жених – партийный и на такой высокой должности в министерстве, что там не поглядят его за венчанье.

Стоял конец апреля. Все уже проснулось от долгой зимы, все было наполнено светом, еще неуверенным в себе, не горячим, а только взволнованно-теплым, но таким счастливым, таким молодым светом, которого не бывает в середине лета, когда солнце раскаляется и начинает яростно выжигать землю, сушить в ней леса и тиранить животных, – сейчас благодарно светились все листья, все подслеповатые мошки, все травки, и только в овраге, блистающий, твердый, прилипший к земле и похожий на сахар, растопленный в ложке, чтоб им лечить кашель, лежал умирающий медленно снег. С утра было так тепло, что, хотя в большой комнате и затопили печку, стол накрыли на застекленной террасе, к которой с одной стороны прижался худой, нерасцветший жасмин, с другой – золотые, звенели под ветром окрепшие за зиму сосны.

Анну ждали с десятичасовой электричкой. На даче была вся семья: Туся с Федором, странно-неразговорчивым, как будто он что-то скрывал от жены, Муся с инженером Василием Степанычем, красивым, широкоплечим, с белозубой улыбкой, и Нюся, младшая, недавно родившая девочку, которая крепко и сладко спала в выцветшей до белизны, когда-то, наверное, синей коляске, в которой до этой раскосенькой девочки катались другие младенцы, давно уже взрослые. Кипел самовар, и, накрытые матерчатыми салфетками, остывали пироги, испеченные Еленой Александровной, сегодня не спавшей всю ночь. Она изредка переглядывалась с мужем, который делал вид, что совсем не волнуется от того, что дочка приедет сейчас с женихом, а что за жених – неизвестно.

К калитке подкатила черная большая машина, похожая на те, в которых возят гробы с телами усопших и важных работников. Она едет медленно, грустно, дорога пылит, и шесть музыкантов в похмелье тоски настойчиво дуют в блестящие трубы, и пыль на дороге, последняя пыль...

Машина остановилась у калитки, неуместная здесь, на этой еще не просохшей аллее, среди безмятежного светлого утра, задняя дверца ее распахнулась, и вылез мужчина, похожий на артиста кино, с блестящими, словно бы мокрыми, черными волосами на косой пробор. Он подал руку Анне, которая помедлила там, в глубокой и темной утробе сиденья, и вот наконец появилась, предстала растерянным взорам семьи. Слава Богу, что хоть Анна была такой же, как всегда, и одета как всегда, и причесана, однако лицо ее сильно горело, как будто его исхлестали крапивой.

Мать и отец стояли перед калиткой с одной стороны, она и черноволосый мужчина – с другой. Калитка была невысокой, кончалась на уровне их подбородков, но и Анна, и родители ее одновременно почувствовали, что прежде они составляли одно и были, как дерево: ствол, крона, корни, но все это в прошлом.

Краснопевцев никак не ожидал, что люди интеллигентные и образованные встретят его в такой затрапезе. Фартук, в котором Елена Александровна пекла пироги в дымной печке, местами был в тесте, местами в золе, на Константине Андреиче широкие шаровары волочились по земле своими замахившимися краями, красные медные пуговицы на рубашке обтерлись до белого цвета. Краснопевцев оглянулся на свою невесту, но вместо стыда, от которого должно было бы еще ярче запылать ее лицо, увидел, как хитрая улыбка, точно отразившая улыбку ее отца, запрыгала вдруг на губах, словно солнечный зайчик. Наметанный глаз Краснопевцева тут же заметил, что родители, особенно отец, держатся с большим достоинством, суеты не было, а уж замешательством вовсе не пахло.

«Дворяне! – сверкнуло в его голове. – Досталось не меньше, чем нам!»

– Ну, милости просим! – бегло взглянув на машину, словно в ее появлении не было ничего удивительного, приятным, прохладным и вежливым голосом сказал отец, правую руку с обручальным кольцом на безымянном пальце протягивая жениху, а левой рукой открывая калитку. – Как раз стол накрыли.

– Сергей Краснопевцев, – сказал Краснопевцев.

– А мы уже знаем. Пойдемте к столу.

Отец вдруг прищурился:

– Шофер у вас там, за рулем?

– Да, шофер.

– Товарищ шофер! Попрошу вас к столу! – тем же негромким и прохладным голосом сказал отец. – Пойдемте, пойдемте!

Краснопевцев покраснел.

– Так нам не положено, – пробасил шофер через окно. – Рабочее место бросать не положено.

– Пойдемте, пойдемте! – повторил отец. – Это оно в городе у вас – рабочее, а здесь деревня, дача.

Краснопевцев кивнул, и шофер вылез, нарочито шумно потягиваясь.

Стол, накрытый чистой скатертью, был плотно уставлен едой. Белые тарелки с золотистыми пирогами, стеклянное блюдо с горячей картошкой и вазочка с черной зернистой икрой – все это немного дрожало от света, который вдруг хлынул сегодня на землю, как будто нарочно в день Пасхи. Беременная Туся, быстро отвернувшись, накрашила губы и встретила нового гостя улыбкой. Остальные, не улыбаясь, настороженно приподнялись со своих мест и были в замешательстве. Краснопевцев решительно подошел к ним.

– Сергей, – произнес он, протягивая руку мрачному и ладному Федору. – Сергей Краснопевцев.

– Наталья и Федор Вершинины, – сказал ему Федор.

– Но можно, как все зовут: Туся, – промолвила Туся, стараясь словами не смазать помаду. – А это вот сестры мои: Нюся, Муся.

– Так это, наверное, Дуся? – шутливо сказал Краснопевцев, кивая на только что извлеченную из коляски большую и сонную девочку.

Вокруг засмеялись.

– Ах, нет! Аэлита, – вздохнула Елена Александровна. – Садитесь, Сережа, остынет.

– Кино посмотрели? – спросил Краснопевцев.

– Нет, просто красивое имя, – отрезала Нюся. – Нам с мужем понравилось.

И тут же все захопотали, задвигались, заскрипели стульями и табуретками, усаживаясь, переставляя тарелки, наливая, откусывая...

Лицо его невесты уже не горело огнем, оно стало спокойным, счастливым и гордо-уверенным, словно она убедилась в том, что ее родители все сделали правильно и даже сама простота их одежды представила маму с отцом в самом выгодном свете. Никто ни о чем не спрашивал Краснопевцева, никто не удивлялся ни его накрахмаленной рубашке, ни заграничным ботинкам, ни тому, что шофер, как ни угощали его, съел только кусок пирога и наотрез отказался от выпивки. Пили много – особенно налегал Федор, – но никто не опьянел, только у Мусиного мужа, инженера Василия Степаныча, улыбка вдруг стала дрожащей, как будто ослабли какие-то мышцы. У Краснопевцева отлегло от сердца. Он боялся, – так сильно, что при одной мысли мурашки пробежали по волосам, – что его начнут расспрашивать о родителях, или о том, где он учился, или о работе, но его оставили в покое, угощали и подливали, и только один раз, когда он потянулся к какому-то блюду и на руке его вздулись бицепсы, отец шутливо пощупал их через рубашку и вдруг подмигнул ему:

– Ну, молодец!

Назавтра они расписались. Не было даже скромного домашнего отмечания, так что этот праздничный воскресный обед – а на сладкое Елена Александровна принесла пасху с выведенными вареньем буквами: Х. В. – остался в сознании Краснопевцева как день его

свадьбы. И долго спустя он так вспоминал этот день: разомлевшие облака в синеве, мокрый блеск сосновой коры, сияние солнца в бесцветных деревьях и, главное, – Анна, ее голова с уложенными венком волосами, и серьги, как капли росы, и глаза с открытым, задумчивым их выражением...

Черная служебная машина перевезла на Сретенку ее чемодан с двумя шерстяными платьями, тремя крепдешиновыми, вязаной темно-зеленой кофточкой, взволнованно пахнувшей «Красной Москвой», потому что на дне чемодана специально лежал флакон этих острых и крепких духов, которые оставляли на одежде темные пятна, поэтому капали их осторожно и только с изнанки.

Она вошла в богатую квартиру, где самому Краснопевцеву не принадлежало ничего, и даже собственная жизнь не принадлежала ему, поскольку когда-то сгорела дотла, а что наступило потом, то было не жизнью, скорее железом, да так раскаленным в огне, что Сергей быстро привык не ходить, а все время бежать и часто боялся, что вскрикнет от боли.

С появлением этой очень молодой и неопытной Анны, которая и женщиной-то стала благодаря ему, не подозревавшему, что можно пойти в гости к незнакомому мужчине, будучи при этом девственницей, – с ее появлением все изменилось. Внезапно открыв ей то, за что его завтра могли расстрелять – и, без сомнения, расстреляли бы, – Краснопевцев вдруг почувствовал какой-то восторженный ужас. Не перед нею, разумеется, а перед теми силами, которые, оказывается, были в нем и освободились в его душе с ее приходом. Пока он не увидел этого лица с задумчивым взглядом, вся жизнь шла удачно, хотя омерзительно. Даже во сне он старался, чтобы прошлое не вспоминалось ему. Он научился просыпаться, как только *они* появлялись, особенно мать. С матерью было труднее всего: она входила торопливым шагом – в темной рубаше с закатанными рукавами, босая, с такими же длинными, как у Анны, волосами, – садилась в ноги и начинала рассказывать ему что-то. Он чувствовал тепло ее дыхания и сильный удушливый запах пота от ее тела. Во сне он догадывался, что матери негде помыться, – на улице лето, жара, – и ему нужно встать, отвести ее в ванную, показать ей, как пользоваться всеми этими блестящими кранами... Но тут же он вспоминал, что она умерла, ее нет в живых, а та, что сидит сейчас на его кровати, источая родной, запомнившийся ему запах пота, – это не она, и нужно прогнать ее, нужно проснуться... И братья к нему приходили. Оба светлоголовые, голубоглазые и такие тощие, что падали штаны. Братья застенчиво придерживали их обеими руками. И братьев он гнал: тоже мертвые. Откуда они приходили? Раньше, когда он верил в Бога, он мог бы объяснить себе это, но сейчас, когда он перестал верить и вообще старался думать только о насущном и ежедневном, любой, подобный этому, вопрос вызывал у него судорожный страх, заглушая который Краснопевцев часто напивался один в большой и роскошной квартире перед тем, как идти спать, и, пьяный, валился в тяжелый туман, но ламп не гасил. Было страшно без света.

С той минуты, как Анна перебралась к нему со своим чемоданом, его не покидало ощущение, что прежде, до нее, он был как будто тяжело болен, а теперь начинает выздоравливать. В министерстве все шло как обычно, и люди были теми же самыми, и та же самая сдобная секретарша Вера, с которой он спал до женитьбы, встречала его укоровизненным взглядом, и нужно было не промахнуться, нигде не сказать ничего лишнего, выступить на собрании, правильно составить нужные документы, – и все это он выполнял, но прежний азарт словно смыло. На него начали косо посматривать, потому что он уже не засиживался на работе допоздна, как это делали все и как полагалось негласным законом, а с трудом дотягивал до шести и торопился домой, потому что дома была жена, а даже если ее еще не было, можно было ждать ее, нетерпеливо подходить к окну, отдергивать штору, смотреть в темной зелени плещущий двор, где часто мелькали в своих легких платьях какие-то женщины, чаще нелепые.

С той же быстротою и жадностью, с которой он выучил восточные языки, он выучил ее привычки, интонации, смены ее настроения. Он знал, что в начале месяца у нее до рвоты раскалывалась голова, – она бледнела, глаза становились темными от боли, – и лучше не трогать ее, не предлагать ей чаю с лимоном и горьким бельгийским шоколадом, который коробками завозили в их министерский магазин, и во всех мусорных ящиках золотом и белыми контурами альпийских гор блестели содранные обертки от этого съеденного сотрудниками шоколада.

Она часто просыпалась немного грустной, и волосы ее, запутавшиеся за ночь, казались темнее, чем днем. Так же, как ее мать, она была расторопной, но небрежной: могла забыть огонь под кастрюлей, захлопнуть входную дверь, оставив ключи на подзеркальнике, теряла то зонтик, то пудру, то новую брошку. Но только с нею Краснопевцев чувствовал себя свободно и радостно, словно в раю, и если бы он продолжал верить в Бога и помнить, что рай все же был, но его потеряли, то он догадался бы, что эти звуки, с которыми Анна бросалась на шею и вдруг повисала на нем, – эти звуки и были когда-то в раю: птичий щебет, а может быть, пенье воды или листьев.

Родители ни разу не навестили их после свадьбы, да Краснопевцев и не предлагал этого: обе стороны звериным инстинктом случайно уцелевших существ почуяли, что одно дело – брак, законное сожительство прописанных по одному адресу и полюбивших друг друга мужчины и женщины, а другое дело – расширение непроверенных,стораживающих и якобы родственных связей. Его вызывали в отдел, где он показал фотографию молодой своей жены и весь передернулся, когда начальник отдела щелкнул крепким и загнутым книзу, как у ястреба, когтем по ее задумчивым глазам и голосом, быстрым, визгливым, воскликнул:

– А что? Неплоха! Ну, живите, живите!

Анна навещала своих два раза в неделю. Однажды, когда она пришла в новом платье, сшитом в ведомственном ателье, с новой белой сумочкой и таких же белых, на высоких каблуках, босоножках, отец, дождавшись, пока все сядут за стол, неторопливо достал с полки томик Чехова, заиграл хитрыми глазами, надел очки и начал читать: «По четвергам Аня навещала своих...»

– Перестань, перестань! – закричала и засмеялась она, выдергивая из его рук книгу и быстро целуя отцовский пробор. – Читала я «Анну на шее», читала!

– Рассказ-то не очень... – сказал вдруг отец. – Нелогично. С чего вдруг хорошая, милая девочка, попавшая к мерзким уродам, развратникам, забудет о тех, кого раньше любила? – Елена Александровна вспыхнула при этих словах и сердито посмотрела на него. – Она этим мальчишкам, братьям своим, умершую мать заменила. Ведь прямо написано. Так что же она их вдруг бросила?

Каждый раз она боялась, что мама или папа спросят ее о Сергее: каким образом он оказался на такой высоте, почему не осталось никого в живых из целой семьи, где они похоронены? Но ее ни о чем не спрашивали, и она, привыкшая к тому, что у нее не было секретов от них, вдруг всей глубиной души поняла, что, значит, и ей-то не все говорили. Но нужно щадить тех, которых ты любишь, и это не значит скрывать, а значит: жалеть и ничьей не испытывать силы. Однажды, правда, мама поинтересовалась, не думают ли они о ребенке. Анна покраснела, но прямо и просто, как всегда, ответила, что Краснопевцев считает, что ей нужно прежде закончить учиться.

– При чем здесь учеба? – холодно удивилась мама. – И я помогу, да и няньку можно пригласить. Возможности есть ведь, как я понимаю?

Вечером, когда он начал обнимать ее, она сказала, что хочет ребенка.

– Сейчас-то зачем? – грубо отмахнулся он, и ей показалось, что он испугался и прячет испуг свой за грубостью. – Давай поживем для себя!

Глаза ее засияли еще сильнее, как это случалось всегда, когда она хотела убедить его в чем-то своем и чувствовала его сопротивление.

– Ребенок – ведь это и есть мы с тобой...

– Да мы только жить начинаем... – пробормотал он. – Ты учишься, я весь работой завален...

Анна опустила глаза. По его настойчивому и раздраженному голосу она поняла, что он произнес первое, что пришло в голову, и ей стало стыдно, как будто бы это она что-то прятала.

В июле широкоскулая и кокетливая Туся родила девочку, которую назвали Валькирией. Имя это придумала сгоряча молодая мать новорожденной, не желая никак отстать от своей младшей сестры Нюси, назвавшей ребенка роскошно, по-царски: Аэлита. Теперь Туся объясняла, что рада была бы назвать свою дочь таким же торжественным, царственным именем, но раз «Аэлита» досталось сестре, то пусть ее девочка будет Валькирией.

Валькирия и Аэлита, беспечные, как полагается только что вылупившимся из тьмы и тепла существам, катались в колясках по скверу, а матери крошек с похожими скулами, румяными, будто плоды в огороде, без усталости спорили и пререкались. В отличие от старшей их, очень разумной и образованной сестры Муси, которая никогда не выносила сора из избы, и Туся, и Нюся имели по всем им известным предметам на редкость различные мнения. В семье уже давно заметили, что папа Валькирии Федор Вершинин вдруг стал очень мрачен и даже как будто сторонится Туся, весьма привлекательной – в клипсах, помаде, – кормящей ребенка законной супруги. Вскоре выяснилась причина такого странного поведения хорошего и честного человека, выпускника к тому же Академии имени Фрунзе и круглого отличника. Оказывается, Федор хотел воевать, а никак не просиживать в штабе выданных ему по специальному ордеру прекрасно пошитых военных штанов. Кто знает, однако, что было причиной такого желания? Теперь уже точно: никто. В семье говорили, что Туся, ее беззаботная эта вертлявость, духи и помада, и ленты-ботинки, и всякие прочие женские глупости. Будучи от природы молчаливым и грустным, Федор, – как говорили в семье, – посмотрев на эти ее штучки и совершенно не умея найти нужных слов, поскольку, как только он начинал возражать или доказывать что-то, кудрявая, как молодая овца, Туся бросалась на кровать и начинала задыхаться, ловить оттопыренными красными губами дым вечно чадающей их печки, – так вот: не умея с ней справиться и чувствуя, как его все глубже затягивает в непроходимое болото мешанства, а лучше сказать обывательства, Федор решил, что лучше вовремя сбросить с себя этот тягостный груз и сразу пойти на защиту Отечества. Защиту Отечества он понимал так же, как понимали ее все остальные слушатели и круглые отличники славной академии, а именно: поле сражений, враги, диверсанты и Чудское озеро. Война ко времени созревшего в душе Федора Вершинина отважного решения уже четыре года как закончилась, но вот диверсанты не переводились. В конце концов, какая разница, где воевать, с кем, честно говоря, воевать, а главное, из-за чего воевать, когда все кончается так, как положено? Лежишь ты, убитый, на поле сраженья, а в небе плывут облака. Тихо-тихо.

Короче, в один прекрасный день, такой же, как все эти летние дни – медовый от множества разных цветений, и длинный, и весь переполненный солнцем, – решительный Федор объявил своей жене и ничего еще не понимавшей в жизни, кроме терпкого материнского молока, дочери Валькирии, уютно дремавшей в глубокой кровати, что в пятницу он уезжает. Кудрявая Туся схватилась за сердце.

– Наталья! – сказал ей отчаянный Федор, упрямо всегда называвший жену ее при крещении выбранным именем. – Ты брось эти глупости! А если все будут, как ты, рассуждать,

укрывать под юбкой, то скоро мы знаешь куда все покатимся? И хватит мне тут несознательных визгов!

И он замолчал от волнения.

Не помогли ни слезы, ни крики, ни горестное выдирание кудрявых волос с обеих сторон головы, ни даже короткий загадочный обморок. Туся, как уверяла выращившая ее Елена Александровна, имела несомненное театральное дарование и крайне нуждалась в его проявлении. В этот вечер она, впрочем, не играла, и страшные в своей нескончаемости слезы, от которых вся она распухла на глазах своего жестокого мужа так сильно, как не распухла даже во время беременности, сперва привели ее к бурной икоте, а после она так внезапно заснула, как будто и впрямь потеряла сознание.

А в пятницу Федор уехал. Сперва не было от него никаких известий, и бедная Туся в сопровождении притихшей сестры, катящей с ней рядом по скверу коляску с раскосой своей Аэлитой, глотала застрявшее в горле рыданье, и когда она наклонялась, чтобы поправить кружевце вокруг розового и милого, ни о чем не подозревающего личика Валькирии, то падали капли на белое кружевце, а то и на лобик проснувшейся доченьки.

Первое письмо от Федора пришло через две недели. Оно было бодрым и полным любви.

«Я лучше бы спел тебе эту прекрасную песню, дорогая моя, любимая Наталья, – писал он ей издали, – про печку, где бьется огонь. А писать тебе простыми словами, как я скучаю за тобой и за нашей доченькой Валею, мне очень трудно. Сама же знаешь, как мне дается найти хорошие слова. Но я знаю, дорогая моя подруга, что со мной ничего не случится».

В сентябре Тусю пригласили в большой кабинет самого главного начальника Академии имени Фрунзе, и массивный, с лицом таким красным, как будто его только что, прямо за завтраком, обварили кипящей водой из котла, человек, поднявшись со стула, пожал ей сперва ее правую руку, а после, легонько обняв за плечи, сказал ей, что Федор Евсеич Вершинин погиб смертью храбрых, выполняя ответственное задание советского правительства и родной коммунистической партии.

Кроме самого страшного – смерти молодого и грустного Федора с наступившим после этой смерти отчаяньем Туси, которая всю первую неделю после кабинета главного начальника пролежала на кровати, отвернувшись лицом к стене, не плача и ни на что не реагируя, – события вдруг побежали стремительно, как будто сорвался табун лошадей и гибкие эти, с большими глазами, привыкшие к скорости дивные звери, которых хотели принудить к неволе, забыв обо всем, разорвав все путы, со ржаньем и хрипом и пыль подымая, помчались куда-то, где их не догонишь.

Муж старшей и образованной сестры Муси Василий Степаныч был от рождения ревнив и подозрителен настолько, что, дождавшись, пока Муся заснет, собравши в охапку одежду, бывшую на его жене в этот день, – уже ею прожитый и поглощенный безжалостным временем, словно орешек, который, скатившись по гладкому полу, навек исчезает в какой-то там щели, – с одеждой под мышкой шел в кухню. Там он зажигал свет и внимательно рассматривал, а также еще внимательнее обнюхивал каждую, даже самую мелкую, деталь Мусино скромного туалета, чтобы убедиться в том, что жена его ни с кем не обнималась, не целовалась и ничего вообще не делала, поскольку, как думал Василий Степаныч, как ты ни крути, а следы остаются. Не чувствуя себя ни в чем виноватой, умная и терпеливая Муся сначала делала вид, что не замечает ревнивых подозрений своего мужа, но вскоре начала раздражаться, вспыхивала, выскочив, бывало, далеко за полночь в ту же самую кухню, опустевшую после шумного коммунального дня, где тихие и похолодевшие, как фиолетовые цветы, комфорки доверчиво, сонно смотрели на небо, хотя вместо неба им был предоставлен слепой потолок с закопченной балкой. На кухне раздраженная Муся, запахивая на высокой

груди цветастый халатик, вырывала из рук смущенного ее появлением Василия Степаныча собственную дневную одежду и громким шепотом начинала стыдить его, угрожая разводом, если он не прекратит этих, как справедливо казалось ей, издевательств. Неожиданные изменения в служебной биографии Василия Степаныча круто изменили их жизнь.

Началось с того, что холодным декабрьским утром на дачу к Иосифу Виссарионовичу Сталину, и без того по горло заваленному делами, приехал сам Мао Цзэдун. Можно было бы, конечно, сказать, что глава китайского государства свалился на голову главы советского государства как снег, но это будет несправедливым и неверным замечанием. Мао Цзэдун был приглашен Сталиным погостить, и, хотя для дачных радостей был далеко не сезон, и ягод не зрело в саду обнаженном, и белых грибов не росло по опушкам, и даже колосья, увы, не желтели в колхозных полях, – несмотря на все это, китайский правитель на дачу приехал и прожил на всем там готовом почти что два месяца. Кормили прекрасно, но чай, – свой, зеленый, – без которого воинственный Мао не мог бы прожить даже дня, доставлен был следом за ним самолетом. Отношения с хозяином сложились непросто, и случалось так, что проходили целые недели, за время которых они не виделись и словно бы даже забывали друг о друге, так что только запах свежезаваренного чая и запах излюбленной Сталиным трубки напоминал каждому из них о том, что жизнь протекает под общей кровлей. Внимательными свидетелями этого времени было замечено, что великодушной и внезапной дружбы, которая настаивает иногда мужчин, оказавшихся на вершине власти и отвечающих за вверенные им государства перед людьми и перед Богом, – такой пылкой дружбы, заставляющей, скажем, этих перегруженных особ, забыв обо всем, обниматься публично и долго, и нежно жать руки друг другу, – такой страстной дружбы у них не возникло. Сейчас бы сказали, что «химии» не было, и сморщенный рот желтолицего Мао совсем не тянул рябоватого Сталина, чтоб слиться с ним в скромном мужском поцелуе. Гуляли, однако, по снежным аллеям, а раз даже, кажется, в баню сходили, но это не точно, а предположительно.

Тем не менее 14 февраля, за три дня до того, как уставший от долгой русской зимы (действительно тягостной и безотрадной!) китайский правитель сумел улететь в свой Китай, при свете всех люстр и при рукоплесканьях в Кремле был подписан советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи. Вскоре в продаже появились махровые, ослепительной красоты полотенца и термосы с золотыми и красными драконами, очереди за которыми занимали с ночи и мерзли, и стыли упрямые люди, желая напиться воды из дракона и желтой, махровой, китайскою розой себе промокнуть отсыревшие щеки.

Драконы летели в Москву, а в Китай навстречу драконам неслись поезда, в уютных и чистых вагонах которых простые советские специалисты спешили на помощь братьям навеки. С добрыми и внимательными глазами проводники неустанно подогревали котлы, чтоб денно и нощно поить пассажиров горячим, янтарным, с лимончиком чаем, и все по ночам обсуждали, когда же Китай перегонит акулу-Америку. И сроку давали пять лет. Как всегда.

Василия Степаныча, ревнивого, но дельного инженера, направили тоже работать в Китай. Жена его Муся поехала с ним.

На месте оказалось, что работы в этом Китае просто невпроворот. И с грустью заметим: различной работы. Не только в полях и не только на фабрике. Ну вот, например, баскетбол. Вполне дружелюбная молодежная игра. Но даже и здесь требовались серьезные переустройства. В процессе торопливого налаживания новой жизни выяснилось, что большинство тренеров, имеющих образование, окончили американские или японские университеты, и влияние буржуазной школы физического воспитания ярко выражается в работе этих тренеров. Медицинское наблюдение за играющими практически полностью отсутствовало, и также полностью не соблюдались гигиенические требования. Национальной литературы по баскетболу в Китае просто не было, писать ее времени не оставалось, так что пришлось на ско-

рую руку переводить на китайский язык уже существующую советскую литературу. С литературой, впрочем, – не баскетбольной, а общей – дела шли неплохо. Посетивший Китай еще в сорок девятом году Александр Фадеев сказал, что такие стихотворения Бо Цзюй, как «Дракон черной пучины» и «Я сшил себе теплый халат», давно вошли в повседневный обиход и стали любимы советским народом, как сказки великого Пушкина. И хотя, заметил Фадеев, в Советском Союзе не так еще много людей, знающих китайский язык, писатели готовы приложить все свои силы, чтобы в их среде таких людей постепенно стало большинство. Короче, кипела, кипела работа.

Муся писала Анне подробные письма, в которых хотя и жаловалась на тяжелый характер Василия Степаныча, но все повторяла, что здесь, за границей, в провинции Коу Джуань, ей жалко бросать беспокойного мужа, которого сразу проглотят драконы. Драконов в Китае – как мух в Подмосковье.

На Мусины шутки Анна тоже отвечала шутками, но письма ее были сдержанными и немногословными. Что-то мучило ее в новой жизни. Это не только Муся, забравшаяся Бог знает куда, чувствовала. Непонятная порода, на которой ничто живое не удержится и произрасти из которой так же трудно, как из гладкого, без единой трещинки, камня, – порода людей, к которым, как думали ее родители, принадлежал Краснопевцев, не вызывала у них ничего, кроме страха, и денно и нощно они ожидали, что дочка вернется домой. И страх этот Анна давно уловила.

Не посоветовавшись ни с кем, она перешла с исполнительского на отделение дирижеров-хоровиков, и когда муж ее выразил сожаление по поводу того, что теперь уже не увидит ее сидящей на сцене за мощным роялем в блистающем черно-серебряном платье, она резко, что было совсем несвойственно ей, ответила, что отсутствие таланта – не преступление, но главное – это признать. И меньше стыда будет в жизни. Она так странно и так сильно произнесла слово «стыд» и так покраснела, как будто ей хотелось обвинить Сергея или вызвать на серьезный разговор. Но после того как вопрос о ребенке повис в воздухе, он избегал опасных и прямых разговоров с ней. Чем больше он привязывался к ней, чем больше нуждался в том, чтобы вечером, когда он возвращался с работы, Анна была уже дома, тем грустнее становилось ее милое и светлое лицо и тем внимательнее были эти взгляды, какие он часто ловил на себе, как будто она забывала их там, как люди порой забывают иголку в шитье или руку на сердце.

Ему казалось, что, рассказав ей правду о подделанных документах и семье, утаив только особенно страшные подробности, которые душа его, иногда ощущаемая им самим как сгусток тоскливой и ноющей плоти, старалась забыть, смыть и выскоблить, он заслужил, чтобы Анна чувствовала в нем по-настоящему родного ей человека. Но этого не было. Каждую ночь, исключая те, наступающие в начале месяца, когда ее тошнило, от боли раскалывалась голова, и вся она странно менялась, эта женщина с глубоким, сияющим взглядом и шепотом низким, тяжелым и нежным, как будто он ей и не принадлежал, – каждую ночь эта женщина, раздвинув горячие ноги, принимала его в себя, и Краснопевцев всякий раз благодарно ужасался всему, что происходило между ними. То ощущение спасительной свободы, которое поразило его в самый первый вечер, когда она осталась с ним, не только не ушло, но стало почти постоянным. Свобода опять была морем, водой, и он из своей духоты вырывался на светлый простор, и опять так шумел в ушах его пьяный, разнузданный ветер, и так ослепляло его этим светом, что он забывал обо всем и, вздымаясь, как волны вздымаются, рушился вниз, как рушатся волны, чтоб снова подняться.

Но днем, присматриваясь к своей жене, Краснопевцев замечал, что она, может быть, ждала от него не только телесных восторгов. Тем более ей не вскружили голову вещи, которые он ей дарил, еда, которую она ела, а перед прислугой, дважды в неделю оплачиваемой ведомством, женщиной пожилой, молчаливой, с острыми глазами и такими же острыми,

серыми, мертвыми локтями, которые обнажались, когда она шваброй с намотанной на нее влажной тряпкой стояла на стуле и вытирала пыль с казенной люстры, – перед этой прислугой, лицо и весь облик которой напоминали монаха в женской одежде, аскета, пустынника, в прошлом убийцу, давно загубившего бессмертную душу, – перед этой прислугой его жена не просто робела, она покрывалась испариной, не знала, как вести себя, куда деваться, и в конце концов попросила Краснопевцева, чтобы эта женщина больше у них в доме не появлялась.

Он не рассказывал Анне о том, как он работает и что именно составляет основное содержание его работы. Этого она не должна была знать. Однажды она спросила его, нельзя ли выяснить, что «произошло» – смутилась до слез и сразу поправилась на «происходит» – с отцом и оставшимся братом. По ее наивному и опасному вопросу Краснопевцев понял, насколько она далека от всего и как будет трудно сейчас объяснить ей, что к *этому* больше нельзя возвращаться. Так же, как он не мог, не находил в себе сил рассказать, как однажды, еще *там*, еще до *всего*, рядом с ними поселили цыган, которые вымирали быстрее и ожесточеннее: они не боролись за жизнь. От холода мерзли, цингу не умели лечить, а по лошадям тосковали так сильно, как будто по детям. Высохшие, с серыми паклями длинных волос старики обнимали своих старух, таких же высохших, с редкими и острыми, как у зверя, зубами, ложились на снег, прикрывались тряпьем и не просыпались. Наутро их пакли звенели, как льдинки. Но несколько молодых женщин все же бродили по округе, пытаясь продолжить свое ремесло. Воровать было не у кого, но люди хотели узнать про судьбу, и часто за луковицу и краюху липкого серого хлеба они подставляли гадалкам ладони и слушали их, затаив дыхание. Одна из таких женщин набрела как-то на пятнадцатилетнего Краснопевцева и, погладив его по волосам с печалью, как будто бы это родной цыганенок, взяла его руку, всмотрелась и вдруг вся наморщилась.

- Давай говори! – приказал Краснопевцев, тогда уже властный и самоуверенный.
- Детей-то не будет! – вздохнула она. – Ох, горькое горе!
- Какое же горе! – ответил он резко. – Куда их девать! Помрут все равно.
- Помрут. Ну дак что? – вздохнула цыганка и прочь запылила босыми ногами.

Все эти годы он и не вспоминал о ее словах. И дети его волновали не слишком. Теперь, когда Анна так просто сказала, что хочет ребенка, он вдруг испугался. С чего это вдруг их не будет, детишек? Да будут, конечно!

Краснопевцев подходил к большому, во всю стену, зеркалу в большой теплой ванной, раздевался догола и сначала хладнокровно, а потом с удовольствием всматривался в свое отражение. Он был не очень высок, но широкоплеч, с хорошо посаженной головой, статен, черные блестящие волосы мощно росли на его выпуклой груди с темными, красно-сиреневыми сосками, которые выглядывали из-под густых волос, а когда он намыливал грудь, стоя под душем, и волосы эти редели, то кожа под ними была слегка смуглой. Он был мускулистым, поджарым, со впалым, как у юноши, животом, а вид его плоти быть должен лишь в радость любой, даже самой балованной, бабе.

И скупостью он не грешил, поэтому, когда Анна сказала, что нужно помочь Тусе с Нюсей, Краснопевцев повел обеих в меховой магазин в Столешниковом переулке. Туся, молодая вдова с крошечным ребенком, жила после гибели героического Федя в бараке для детных семей офицерства и находилась в неустанных скандалах и перебранках с такими же, как она, женами и вдовами, целыми днями ходившими по этому барaku в железных больших бигуди и страстно шипевшими в спины друг другу, как змеи шипят по кавказским ущельям. Она очень изменилась с того дня, когда генерал, посморкавшись отечески, сказал ей, что Федор, отец ее дочери, с заданием партии полностью справился. Тогда она опрокинула стул, на который опиралась, и медленно поползла на пол, утративши все свои женские формы. Теперь она стала другой. В узких глазах горел недобрый огонь, вызванный необходимостью

то обороняться от соседок, то грубой ногою пинать их мужей, которые, скажем, спустив громко воду в немного зеленом, кривом унитазе и пользуясь тем, что темно в коридоре, всегда норовили залезть ей под юбку, хотя даже рук еще не сполоснули. Ах, кобели, кобели! Сволочь штабная! Могли ведь, как Федя, сложить свои головы! Так вот: не сложили. Повесить не жалко.

Очень скоро лукавая, дерзкая и театрально одаренная Туся стала раздраженной и сварливой. А может быть, Федор ее раскусил и жизнь свою отдал совсем не напрасно? Кто знает, какие там алые розы его ожидали в семейном союзе? Ненадолго забегаая в гости к Анне со своею маленькой Валечкой, на темноватом личике которой вздернутый, как у отца, носик был великоват, а глазки, косящие, цвета изюма, горели, как глазки волчонка в берлоге, Туся стремилась наговорить всего самого неприятного, критиковала убранство квартиры (особенный гнев доставался столовой), а однажды даже сказала, что Анна пошла замуж только с одной гнусной целью: чтоб трескать икру и чтобы зимою носить эту шубу. (Новая котиковая шубка, недавно подаренная Краснопевцевым жене, висела в коридоре на вешалке.)

Анна прикусила губу, глубоко вздохнула, а вечером, как только муж пришел с работы, попросила его вернуть котиковую шубу обратно в магазин и что-то купить вместо этого сестрам.

Как он любил, когда она просила его о чем-то! И как редко она просила его! Во глубине души Краснопевцев почти ужасался тому безразличию, с которым Анна принимала свою новую жизнь. Он понял – не сразу, но понял, – что это безразличие было впитано ею с молоком матери, что в доме, где она родилась и выросла, вещи ценились ровно настолько, насколько они могли выполнить свое прямое назначение: еда – утолить голод, одежда – согреть, а дом – защитить ото всех остальных. Он понял, что ее родители и люди, подобные им (теперь-то он знал, что подобные есть: они тоже дышат и прячутся где-то), оттого и не придавали никакого значения ни тому, как они выглядят, ни тому, что на них надето, поскольку сумели преодолеть свои прежние привычки и оценили жизнь – даже ту, которая наступила для них, – как Божий подарок, а вовсе не цепь бытовых достижений, и важно им только одно: независимость. У самого Краснопевцева не было и не могло быть независимости, а любое стремление к ней грозило смертью. При этом смерть, которой он насмотрелся вдоволь, не пугала, а скорее злила его: отдать для того, чтобы жить, столько сил, наесться такого дерьма и погибнуть!

– Они обносились, – сказала жена и вспыхнула сразу щеками и шеей. – Туська ходит в мамином меховом жакете, он продранный весь.

В субботу он подхватил обеих сестриц и отправился в Столешников переулок. В магазине «Меха и меховые изделия» было много народу, в примерочную тянулась длинная очередь. Краснопевцеву стало весело и приятно от того, что он сейчас делает.

– Девушка, подберите нам два пальтишка покрасивее, – сказал он продавщице.

Но тут странное что-то проскользнуло перед его глазами, как будто он вдруг отключился: сгнивший стог, занесенный первым снегом, оборванная, незнакомая ему молодая женщина, которая воровато прячет в гнилую солому младенца, оглядывается, не видел ли кто, потом убегает и громко хохочет, закинувши голову...

– Сережа, Сергей! – услышал он грудные, очень похожие голоса Нюси и Туси. – Ты что такой бледный?

Усилием воли он заставил себя вернуться в магазин, где на больших и разгоряченных человеческих телах болтались меха и блестели так ярко, с какой-то почти лихорадочной

силой, как будто в них все еще брезжила жизнь, и зверь, окровавленный, но не добытый, дышал внутри этого колкого меха.

– Хотите из зайчика? – приторно улыбаясь красивому и богатому Краснопевцеву, спросила его продавщица, картавая. – А может, вас интересует из белочки?

И сняла с вешалки две розовато-серые шубки. У Туси и Нюси вспыхнули щеки, рты полуоткрылись. Одна была жалкой, сварливой, вдовела. А муж у другой был все время в больнице. Он обнял их юные, хрупкие плечи. Нелепые девки, но ведь не чужие.

– Сережа! Нам стыдно. Такие подарки! – тихонько шепнула вспотевшая Нюся. – Мы думали: ну, по жакетику, ладно... А ты сразу шубы... Ей-богу, мне стыдно!

– Да что! Одна ведь живем! – Он скрипнул зубами. – Вы меряйте, меряйте!

Они надели на себя шубы и теперь стояли перед ним смущенными молодыми царевнами с дыханием нежным, глубоким, счастливым, с волнением в глазах, сильно поголубевших, и ноги в растоптанных их башмачонках торчали из меха, как что-то чужое.

– А ну повернитесь! – сказал Краснопевцев.

Они повернулись, зардевшись, как маки.

– Берем? – спросил щедрый их родственник.

Картавая продавщица выписала две бумажки, Краснопевцев расплатился, и втроем они вышли на улицу, залитую светом последнего солнца.

– Того гляди, снег и повалит... – сказала, прищурившись, тихая Нюся.

– К зиме идет дело, – добавила Туся.

Краснопевцев проводил их до метро и тихо направился к дому. Ничего страшного не происходило в его жизни. Ничего, кроме этой растрепанной женщины, которая, воровато оглядываясь, зарыла в стог сена младенца. Он остановился и потер виски, набрав в свою грудь бодрой, радостной свежести, которой был полон октябрьский воздух, как будто в холодных небесных садах созрела антоновка.

Нужно было понять, что изменилось за год с небольшим жизни с Анной? А ведь изменилось, и нечего прятаться. Он то ли становился другим, то ли возвращался обратно, к тому человеку, которым был прежде, родился и рос, какого боялся в душе хуже черта.

*В самом начале 1950 года была восстановлена смертная казнь, опрометчиво отмененная в сорок седьмом году. Зачем было отменять столь необходимую в государстве расправу с людьми, заведомо не нужными обществу, теперь уже трудно сказать. Но погорячились и – вдруг отменили. Три года прошло, и – опомнились. Опять наступил прежний крепкий порядок. Немножко с кровинкой – а как же без этого? И еще одно грустное событие произошло именно в тот день, когда указом Верховного Совета была восстановлена смертная казнь: на Патриарших прудах погиб на рассвете большой белый лебедь. Он вмерз в тонкий лед ангельскими своими крыльями, открыл нежно-розовый клюв так широко, как будто ему не хватало то ли воздуха, то ли неудержимо посыпавшегося снега, и, странно скосивши глаза, кротко умер. Наутро его обнаружили мертвым, и золото хрупкого зимнего солнца его заливало со всей безутешностью. Никто не обратил бы на этого слабого, не справившегося с жизнью лебедя никакого внимания, поскольку вообще было много печали, но по радио торжественно объявили, что наступают зимние холода, дружески посоветовали запастись дровами и в качестве подтверждения своей правоты сообщили, что лед по ночам так крепчает, что мерзнут в прудах даже лебеди.*

В середине рабочего дня, когда Сергею Краснопевцеву, по уши зарывшемуся в бумаги, вдруг так смертельно захотелось спать, как будто в еду ему влили отравы, во всех кабинетах узнали про новость: готовится праздник в Кремле.

Теперь уже не распутать всех этих нитей и узлов не развязать: почему, например, были приглашены только тридцать пар из Министерства иностранных дел? На каком основании эти пары отбирались? Ходили даже слухи, что наверху подняли всю картотеку, проверили, как выглядят жены у *всех* сотрудников, потом, исходя из жены, приглашали.

Он хорошо помнил, что не только не обрадовался тому, что попал в список счастливых, но даже в душе огорчился, а если бы это случилось до Анны, ну, скажем, полгода назад, он был бы в восторге, холодном восторге, который охватывал его всякий раз, когда удавалось хоть на сантиметр, слегка оттолкнув чье-то скользкое тело, забраться повыше на лестницу жизни.

Теперь сама жизнь изменилась. Хотелось стать тише, бледней, незаметней и спрятаться в тень. От кого? На это он тоже не знал, что ответить.

Анна вышла замуж не потому, что она полюбила Сергея Краснопевцева и не могла жить без него, а потому, что в первую же минуту ощутила, что была крепко-накрепко связана именно с ним, и произошло это не тогда, когда она оказалась в его постели и кровь пролилась из нее, а значительно раньше. Она не могла объяснить своего ощущения и никому никогда не говорила о нем, но эти толчки изнутри, когда ее всю ударяло, как током, и вдруг она знала, *что будет, как будет*, уже с ней случались.

Первый раз это произошло, когда ей было восемь лет и она с подружками возвращалась домой из школы. Их было четверо или пятеро: маленьких, бледных московских девочек, а над переулком царил весна. Повсюду бежали потоки, звон трамвая смешивался с голосами птиц, и почки уже источали свой запах: еще не листья, но чего-то такого, что много острее, свежее, душистей, чем листья и даже цветы. Она помнила, как весело и беззаботно было у нее на душе и как ее вдруг затошнило от страха, когда она почувствовала, что одну из этих девочек больше *никогда не увидит*. Девочку звали Катей, она носила маленькую темно-синюю шапочку, низко надвинутую на брови, и такого же цвета вязаный шарф. Ничего и не осталось в памяти, кроме этой низкой надвинутой шапочки и того, что однажды ее ударила учительница за то, что Катя грызла ногти на уроке. Она просто подошла, наклонилась, как будто хотела ей что-то сказать, и вдруг, размахнувшись, ударила. И многие в классе заплакали. Но это случилось зимой, а может быть, поздней осенью, то есть давно, а тут наступила весна, зазвенели ручьи на земле, и запели все птицы.

Они шли по переулку, размахивая своими сумками, и громко смеялись. А Катя смеялась всех громче. На следующее утро она не пришла в школу, а через несколько дней прямо на доске повесили тусклый фотографический ее портрет – кудрявая голова, тонкий обгрызанный пальчик подпирает щеку, – и тут же директор, больной, с лиловыми губами человек, сказал им, что нынче занятий не будет: вчера умерла ученица их класса Катюша Шувалова.

Несколько месяцев Анна не могла заставить себя ходить по этому переулку: Катюша Шувалова продолжала подпрыгивать по нему, размахивать сумкой и громко смеяться, не зная того, что уже знала Анна. Потом улетела куда-то, исчезла.

Остальные толчки интуиции, как называли бы эту странность знающие люди, не были такими сильными, но когда, поднимаясь на эскалаторе, она поймала на своем лице жадные глаза Краснопевцева, внутри ее все осветилось, как молнией. Она знала, что сейчас он бросится вниз по ступенькам, чтобы догнать ее уже на улице, и поэтому сначала замедлила шаги, а потом и вовсе приостановилась. Ей и не нужно было оборачиваться: короткий и придушенный звук его дыхания она словно вспомнила сразу. То, что она поехала к нему домой и так быстро отдалась ему, произошло потому, что это *должно* было произойти и было давно предначертано. Если бы ее родители увидели, как она садится в такси с незнакомым мужчиной, едет с ним в лифте, входит в его квартиру, пьет коньяк из тоненькой позолоченной рюмки и навзничь ложится на модный диван, – они бы такого, конечно, не вынесли.

Семейная жизнь с Краснопевцевым не была гладкой и не радовала ее так сильно, как молодую, вышедшую замуж по любви женщину должны радовать первые месяцы брачного блаженства. Она почти со страхом замечала, как он все сильнее и сильнее привязывается к ней и начинает зависеть от нее. Не жалость нужна была этому напористому, Бог знает через что прошедшему человеку, не жалость, которой в ней было с избытком, а страсть. И страсть, бушевавшая в нем, диктовала законы их жизни. По этим законам Анна должна была не просто любить его, а любить так, чтобы уже не замечать вокруг ничего другого, должна была слиться с ним, чтобы и вздохи, и выдохи их совпадали и чтобы ему одному доверять свою душу. Ему одному, а не маме и папе. Иногда ей, кстати, приходило в голову, что он, сам не подозревая об этом, требует от нее любви, которая именно им, маме с папой, досталась без всяких потуг. Словно с неба спустилась.

Когда она замечала, как округляются глаза у ее подруг и двоюродных сестер, едва они переступают порог их квартиры, как жеманно отставляет мизинец лукавая Туся, держа на весу чашку с чаем, как будто она держит легкое перышко, как ярко краснеет пугливая Нюся, когда Краснопевцев с веселой улыбкой кладет ей на хлеб ломтик нежной севрюги, когда она ловила на себе недобрые взгляды на улице, где в серой и мешковатой толпе всегда выделялась то сшитым недавно пальто, то блестящею сумкой, то шарфом, то шляпой, – когда она вдруг замечала все это, ей сразу хотелось домой, в коммуналку, и чтобы на ней был потертый берет и мамины старые черные туфли... Чем уютнее и благоустроеннее было их существование, тем меньше она понимала, почему же ее муж никогда не вспоминает о своей семье и до сих пор так и не знает, сумел кто-то там уцелеть или нет. Она догадывалась, что любое проявление интереса к судьбе раскулаченных для человека, который, как муж ее, «выбился кверху», могло быть опасным, но ей было стыдно сидеть за столом, есть икру и севрюгу и стыдно ей было смотреть на него, который ел ту же икру и севрюгу, как будто забыл обо всем и как будто ему в этой жизни ничто не мешает. Иногда Анна старалась представить себе, как они выглядят – отец и брат, которых он оставил почти двадцать лет назад, и ей казалось, что они несколько не похожи на Краснопевцева, но когда она попросила, чтобы он описал ей своего отца, муж вдруг отвернулся так резко, что скрипнула шея под белой рубашкой.

Однажды он спросил у нее, знают ли ее родители, что он из переселенцев и живет по подделанным документам? Она ответила, что никому – и даже родителям – ничего не скажет. У Краснопевцева отлегло от сердца: она никогда не врала. Но, может быть, потому, что все, что он уже понимал в ней, притягивало его с такою силой, которую он не мог объяснить себе, он продолжал вникать в Анну так, как люди вникают в изучение каких-нибудь редких книг или явлений природы. Странное чувство, что при всей своей податливости и нежности она не отдается ему до конца и наступит минута, когда он совсем потеряет ее, мучило его, и так надоедливо ныла душа, что всю эту муку хотелось, как птицу, зажать в кулаке и не выпустить. В одном только им «повезло» одинаково: они потеряли свободу друг в друге. Она – с удивлением, с грустной покорностью, он – с дикой тоской, обожанием, страхом.

Несколько, впрочем, дней безмятежного счастья однажды досталось и им. Не теплый, а жаркий, почти даже знойный, как будто бы вдруг высоко в облаках опрокинулись песочные часы и время легко заструилось обратно, настал самый-самый конец сентября. Родители ее уехали по путевке в Геленджик, хотя отец всем на свете санаториям предпочитал дачу, где утром он слушал, как мощно шумит большой старый лес, а когда наступали холода и первые заморозки серебрили землю, то он, выходя на крыльцо, смотрел с умилением, как быстро сникает, прощаясь с ним, сад, как мертвеет трава, и его, человека уже немолодого, которому давно приходили в голову мысли о смерти, охватывал робкий, щемящий восторг при виде того, как прекрасно, как дивно устроена жизнь. Здесь, стоя босиком на своем крыльце и слушая голос огромного леса, он думал о том, что нам нужно уметь терять и прощаться, и не

бунтовать, прощаясь, утрачивая, умирая, а жалкая жадность, с которой мы, люди, цепляемся, жаждем, и просим, ей-богу, не многого стоит...

Замерзнув в одной рубашке, он возвращался обратно в жарко натопленную комнату, осторожно ложился рядом с женой, которая, не просыпаясь, прижималась к нему и вмиг согревала его своим телом. Елена Александровна знала своего мужа не хуже, чем себя саму, и за долгие годы брака научилась читать все его мысли, угадывать все повороты души. Она знала даже и то, что при своем всегдашнем устремлении к «божественному», как, нежно смеясь, говорила она, при всех его книгах, сомненьях, раздумьях, он вновь возвращается к ней, к этой жизни, простой, бытовой, полной мелочной скорби. Даже то, как он обнимал ее по утрам, как гладил ее потускневшие волосы и как, не целуя, водил по лицу губами, что изредка делают дети, всегда подтверждало ее правоту.

Елене Александровне самой было хорошо на даче, – пусть холод, пусть дождь, – хотя приходилось и печку топить, и крыша текла так, что таз подставляли, а утром в колодце вода покрывалась изрезанной, словно пером, хрупкой коркой, и ведра, которыми воду черпали, вдруг запотевали и резко бледнели, как старые лица людей от волнения. В отличие от мужа в Елене Александровне была озорная веселость, любимая всеми, кто знал ее близко, и вся непростая их жизнь с безденежьем, очередями в ломбард и вечной боязнью советских порядков благодаря этой ее веселости казалась спокойной и даже беспечной. Теперь ей хотелось в тепло, на Кавказ.

Поехали к морю. И тут, как в отместку, сияние лета вернулось в Москву. Жара наступила такая, что божьи коровки, почти уже мертвые, сразу воскресли.

Анна попросила мужа провести на даче хотя бы два дня. Краснопевцев поднял брови, но, увидев ее радостные, смущенные глаза, согласился. Приехали рано, на электричке. В деревне голосили петухи. Многие дачи оказались уже заколоченными на зиму, но на остальных участках возились люди, все вновь в сарафанах и майках, босые. Варили варенье в садах. Запах меда, смешавшийся с запахом розовых яблок, был праздничным, словно везде пировали. Калитки были открыты, дачники с охотой заходили друг к другу, просили то соли, то перцу, делились рецептами разных засолов. Грибов было много, и все удивлялись жадности Анисимовых с двадцать шестой дачи, которые чуть было не отправились на тот свет, сваривши обед из одних мухоморов. Старик Анисимов, чудака и художник, всегда говорил, что грибы все съедобны, но нужно уметь приготовить научно, а уж мухоморы вкусней буженины. Ну, вот и поели. Едва откачали.

Как только Анна и Краснопевцев вошли в дом, они отворили все окна, все двери: в доме было холоднее, чем на улице. От солнца горели бревенчатые стены, на которых красновато темнела смола, что сильно роднило деревья, отдавшие жизнь этим людям, и вольных их братьев в лесу, за оградой.

Анна принялась перестилать родительскую постель, наклонилась и, держа наволочку за уголки, оглянулась на мужа.

– Ну, ведь хорошо, что приехали?

Он молча, с непривычным выражением на своем красивом худощавом лице смотрел на нее.

– Что смотришь? – спросила она.

– Да так, – усмехнувшись, сказал Краснопевцев. – Смотрю на тебя, и мне кажется...

– Что же? – спросила она.

– А то, что здесь все – не мое.

– Как все – не твое? Я – твоя.

– Ну, да. – Он кивнул. – Ты в кровати – моя. Но я не об этом.

– О чем ты?

– Ты знаешь, о чем. Я тебе говорил. Могла бы сейчас догадаться. Смотрю на тебя и понять не могу... Вот, как мы приехали, как тут тепло, варенье, и птицы поют. Не мое! Другая какая-то жизнь. И ты в ней, как рыбка в воде. Плеснешь, уплывешь и не вспомнишь. А я-то? А мне-то куда?

– Ты – радость моя! – Анна обняла его и с силой надавила на его затылок, чтобы он прижал свое лицо к ее лицу. – Мне жалко тебя, мне все время, всегда...

И вдруг разрыдалась.

– Сережа! Ну, что я могу? Ну, скажи! Ведь ты все молчишь, я ведь даже не знаю... Ни как вас везли, ни как ты убежал, ни как ты там жил... ничего! Я думаю только, что это болит. Должно ведь болеть! Разве я ошибаюсь?

Он быстро кивнул и попытался высвободиться из ее рук.

– Ну, что ты толкаешься? Что ты? Зачем? Ты сильный, ты умный, способный, я знаю! Но разве ты мог их забыть? Ну, скажи!

Краснопевцев вздрогнул и перестал вырываться. Мокрыми солеными губами она быстро поцеловала его в уголок рта.

– Мы с папой однажды о тебе говорили. Не бойся! Ведь я обещала тебе: никогда... И папа сказал, что ты тертый калач и крепкий, конечно, орешек, но... раненый. А там, ну, у вас, «наверху»... – Она уже не плакала и насмешливо подняла брови, видимо, вспомнив, как это сделал отец, когда у них шел разговор о Краснопевцеве. – И там не должны тебя слишком любить. Таких узнают по глазам и не любят.

– Но я, видишь, выжил, – пробормотал он. – А там никого так уж шибко не любят. В глаза тоже редко глядят, ни к чему. Но я не могу на двух стульях сидеть! А ты словно требуешь! Напоминаешь!

– Так и не сиди, – прошептала она.

– Послушай! – с силой выдохнул Краснопевцев. – Мы без году неделя как женаты, а я себя все время виноватым чувствую! За то, что с голоду не подох, – виноват! Что удрать удалось – виноват! Что образование получил, три языка знаю – тоже виноват! Еще мне скажи, что не пью, – виноват!

Он впился в ее лицо покрасневшими глазами, ожидая, что она начнет возражать ему, но Анна молчала.

– Ты-то хоть меня не предавай, – вдруг прошептал он.

Она отступила слегка.

– Предавай? Но мы с тобой не на войне! Ты о чем?

– А люди – всегда на войне. Погляди...

– Но мы с тобой муж и жена!

– Поэтому я и прошу, раз жена. Была бы соседкой – какая мне разница!

Она опять прильнула к нему и так сильно прижала его к себе, словно они бежали друг к другу издалека и вот наконец добежали и можно обняться. В его словах была жгучая и страшная для нее правда, о которой он не должен был догадываться и не должен был мучиться своими догадками, потому что она готова была всю жизнь держать эту правду глубоко в сердце.

– Но я тебя очень люблю. Я твоя. Нет, честное слово, твоя! Ты не бойся!

Краснопевцев оторвал от себя ее руки и, обхватив ее голову обеими ладонями, всмотрелся в ее лицо.

– Анюта, любовь – это дело такое... Сегодня она вроде тут, завтра там... А я говорю: «Только не предавай!» Ну, как бы тебе объяснить? Я мальчишкой еще, помню, спать не мог от голодухи, вши, грязь, ад крошечный: кто стонет, кто плачет, кто только что помер... А я знаешь как? Вот закрою глаза, уши себе пальцами заткну и чувствую, будто плыву. Как в бездне какой-то. Одна чернота. В голове, помню, стук начинался: тук-тук, тук-тук, а я все

плыву и плыву. Вокруг никого, ничего. Пустота. Думаю про себя: хоть бы за травинку какую схватиться! Хоть бы удариться обо что! А то ведь – один! Понимаешь? Один!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.